

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Надежда Кожевникова

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ ОЛЕША умер 10 мая 1960 года от инфаркта. «Книга прощания», которую он, можно сказать, писал всю жизнь, опубликована спустя сорок лет после его смерти.

К открытиям «гласности» Олешу не пристигнешь. Он был всегда знаменит. И в скотское время, в прожитой литературной среде имел безупречную репутацию. По чистоте, кротости, жертвенной преданности призванию равны ему только, пожалуй, Платонов и Зощенко.

Знаменитый — и нищий, спившийся. Считалось к тому же, что испившийся. А между тем коллегами мало кто так уважался. Им, собравшим по цеху, неловко делалось — а, возможно, и страшно, — когда он, создатель шедевров, потерку у них «одалживал». Сколько же было в этом человеке достоинства, что, и побираясь, он себя не ронял.

Было, видимо, и еще нечто сверх, что улавливалось и другими, в «гамбургском счете» не сведущими. Моя мама, к примеру, тоже смущалась, когда Юрий Карлович у нее, по-соседски, ту же потерку стрелял. Могу представить, что он умудрялся и тут оставаться галантным. И, верно, не замечались обтрепанные, с бахромой, штанины. Врожденное, вольное, европейское в нем, запятым в клетку режимом, продолжало искриться. С сожалением, но без негодования, перечислял он страны, где так никогда и не побывал. Другие ездили, возвращались в заграничных обновках, кто в галстук-бабочке, кто с трубкой, кто с тросточкой. Но самым среди них элегантным оставался он, Олеша, в шляпе с обвисшими полями, в изношенном пальто.

Я в школе училась, когда вышла посмертно его книга «Ни дня без строчки». Помню ошеломление: вот ведь кто в нашем доме жил, в том же подъезде! И ни разу, и мельком даже не довелось с ним повстречаться. Я бы запомнила — узнала, казалось, — если хотя бы однажды вместе в лифте проехали.

А ведь, надо заметить, по факту рождения, воспитанию литературные знаменитости мною без трепета, буднично, воспринимались. Переделкино, Коктебель, Малеевка являлись, ну, средой обитания, скорее похожей на коммунальную кухню, чем на Олимп. Как и Лавруха — серый, мрачный, девятиэтажный дом, писательский, как его называли, супротив Третьяковки.

Я там выросла, в квартире, перерезаемой длиннющей кишкой коридора, что засасывала, пугала своей непроглядью, и когда надобность возникала к ванне, уборной, пройтись, опасливостью с усилиями преодолевалась. Страшен и двор-колодец. Даже тогда, когда я еще и не знала, как действительно эта постройка-глыба злобеша. Истинно сталинский стиль, в чью эпоху она и была воздвигнута. Там травились, и вешались, и выбрасывались из окон. И уж, наверно, все поголовно знали и ждали, когда ночью раздастся звонок в дверь. Густо заваривалось, испарения поголовного страха и а в с е г д а пропитали те стены. Мне до сих пор снится, хотя съехала с Лаврушинского в девятнадцать лет, дверь входная, со множеством замков, цепочек, а ведь на самом-то деле такая хлипкая: сорвется, как лепесток, если вдарить как следует.

На шестом этаже, под нами, на двери сияла медью табличка «М.М. Пришвин». Вдова его — я тогда и понятия не имела о сохраненных ею мужниных дневниках — была моей личной врагинею. Из-за ее «кляуз» мама условия мне поставила: громыхать на роле не раньше семи утра и не позже одиннадцати вечера. Я, крадучись, — запреты так сладостно нарушать — еще в сумерках, в шесть, касалась клавиш, и мама, в ночной рубашке, влетала фурией и влепляла мне, непослушной дочери, затрепанные. Визжа и ликуя, я падала с

круглого, на винте, табурета. Ну все, ну конец респектабельности...

Олеша записал в связи с Чайковским и его отношениями с фон Мекк: «Эта история лишней раз говорит о том, с какой незаинтересованностью должны мы относиться к личной жизни художника». Между тем в его собственном творчестве, помимо, конечно же, исключительной художественной наблюдательности, именно авторское «я» завораживает, пленяя человеческими качествами, ему присущими. Он сам сказал о Маяковском: «Это был, как все выдающиеся личности, добрый человек».

И в нем, в Олеше, язвительный ум уживался с благородством, кристальной порядочностью, сквозя-

ти. Там, в Лаврушинском. Но ни тени тут нет обывательской зависти к чужому преуспеянию. Другое: упоение роскошью природе артиста более свойственно, чем осмотрительность, скупость, характерная для посредственностей. Рембрандт, как известно, пока обстоятельства позволяли, властью коллекционерства, скупал драгоценности, ткани, предметы искусства. После все пошло с молотка. Олеша, чья «Зависть», «Три толстяка» оглушительно прогремели, и успех вкусил, и соответствующие гонорары. Пристраститься к такому легко. Отказаться, сознательно отказаться — подвижничество. И сколько талантливых тут спотыкалось. Заблуждение думать, что решает все дар. Дар может расти, а может и съезжиться, как

мом низу, смрадности, деклассированности. Что ли кается? Нет, получите! Селедочные головы, оставленные на газете в обедках, высверкивают для него, волшебника, блеском пожарников в касках. Это царь, это небожитель. И по праву на равных беседует со Стендалем, Паскалем, Толстым.

Но вот, выясняется, и у него есть «пунктик», человек-тень, преследователь. Соблазнитель. Соперник. Друг-враг. Валентин Петрович Катаев.

Незадолго до смерти, в письме матери: «Я с ним поссорился лет семь тому, и с тех пор мы так и не сошлись. Иногда я грущу по этому поводу, иногда, наоборот, считаю, что Катаев дурной человек и любить его не надо. Тем не менее с

хание перехватывало — читаем, причем легально, а не в каком-нибудь «там-издате», про умыкаемую по-гусарски «Надюсу», которую ее шепелявивший муж, Мандельштам, настывает-таки в кабаке и, как оглашенный, обрушивается на собравшихся, шепеляво опять же... Цитировать теперь трудно, когда все уже явлено, высвечено, до последних углов: труп с биркой на ноге, вдова, не простившая ничего никому, шекспировского накала — бутылками «телиани» их кровь не смывается.

Но, может быть, в то время, в которое Катаев писал, их тени иначе было не воскресить? И к Эренбургу с его «Люди, годы, жизнь» не надо бы придирались? Да, все они — современники, но их свидетельства, восприятие происходящего от того так разнятся, что одним повезло, а другим нет? Или же «везению» и «невезению» нечто предшествовало, отнюдь не случайное и выходящее за рамки литературных вкусов?

Свою эпоху Олеша обозначил: «Знаете ли вы, что такое террор? Это гораздо интереснее, чем украинская ночь. Террор — это огромный нос, который смотрит на вас из-за угла. Потом этот нос висит в воздухе, освещенный прожекторами, а бывает также, что этот нос называется Днем поэзии. Иногда, правда, его называют Константин Федин, что оспаривается другими, именующими этот нос Яковом Даниловичем или Алексеем Сурковым». Датировано 1946 годом.

А вот Катаев, спустя двадцать, посетив Париж, пишет в «Траве забвения»: «Я понял: Бунин променял две самые драгоценные вещи — Родину и Революцию — на чечевичную похлебку. Так называемой свободы и так называемой независимости».

Вдова Бунина Вера Николаевна, как Катаев повествует, встречает гостя в трапезе, в стоптанных туфлях, «поразив» — его слово — запущенностью, чернотой паркета в передней, разнокалиберной посудой, скудостью угощения. До того, бывая в Париже, Катаев пытался уже разыскивать Бунина. И был «молодой, взволнованный, в щегольском габардиновом темно-синем макинтоше, купленном у Адама в Берлине, в модной вязаной рубашке, в толстом шерстяном галстуке, но в советской кепке, побывавшей уже вместе со мной на Магнитогорске, сдвинутой немного на ухо — под Маяковского».

Ну просто парень хоть куда. К тому же счастливое свойство — самому себе нравиться. А страничками раньше, спросив про тиражи книг Бунина-эмигранта, автор опять «поражен»: «У нас бы его издавали сотнями тысяч, — почти простонал я. — Поймите, как это страшно: великий писатель, который не имеет читателей. Зачем он уехал? Ради чего?»

Сейчас этот пафос вызывает улыбку: фюють, Валентин Петрович, про тиражи это вы зря, напрасно обещали. Весьма скоро и вас, советского классика, издавать будут куда как скромнее. И ни квартиру, ни дачу, даже толстый роман опубликовав, не купишь. А после ваших пассажей про клеенку потрескавшуюся, порывшуюся в бунинском доме мысль приходит: а может быть, правильно, что профессия литератора в нашей стране перестала быть прибыльной? И привилегиями их, писателей, награждать не за что. Привилегии получают за верную службу. Но если творческую свободу ценить, о какой верности и о какой службе может идти речь?

Кстати, много сказано про муки творчества и значительно меньше про удовольствие, что оно приносит. Хотя каждый, кто работает честно со словом, звуками, красками, в глубине своей сознает, что старается в первую очередь для себя самого. Себя уважая. Все прочее, даже слава, с этим первичным, нутряным, не сопоставимо. Юрий Карлович Олеша изводил тонны бумаги, за столом просиживая по двенадцать часов, но за стенами, жалобами — пережитое наслаждение. Вот почему сияние исходит от его книг. Они написаны — да, истинно счастливым человеком.

СОСЕД ПО ЛАВРУХЕ

«Книга прощания» счастливого человека

щими в каждой строчке. Казакевич выразился абсолютно точно: «Олеша — один из тех писателей, которые не написали ни единого слова фальши. У него оказалось достаточно силы характера, чтобы не писать того, чего он не хотел».

Вот где разгадка его, как казалось тогда, немоты. Что именно не хотел, теперь ясно всем, но при жизни его, да и годы спустя после смерти это замалчивалось как крамольная, страшная тайна. Даже чуткий, интеллигентный Галанов, сам пройдя лагеря, в предисловии к изданию 1965 года правду сказать не решился, пробормотав лишь невнятное про растерянность будто бы Олешину перед современностью, отходом его от «актуальных проблем». Тогда как, наоборот, он впился именно в корень: можно ли, оставаясь честным, выжить среди тотальной, удушающей лжи? И предпочел нищенствовать, наблюдая, как другие, сговорчивые, богатеют. Тот же друг его юности, Катаев. В «Книге прощания» беззлобно замечено: в «ЗИМе» прокатил Катаев. «ЗИМ» этот хорошо помню, сама в нем ездила, в период когда мой отец с Валентином Петровичем, «дядей Валей», дружили неразлейвода.

Сопровождая их в прогулках по Замоскворечью, заражалась той радостностью, тем удовольствием, что оба испытывали от общения друг с другом. Гордилась, храня их секреты: случилось, они заходили в магазин «Овощи-Фрукты» на Пятницкой, где был винный отдел, и распивали за стойкой шампанское. Подозреваю, что туда именно и Олеша заходил, употребляя кое-что покрепче. Об этом периоде он сам пишет как о своем падении. Для Катаева же, да и для моего отца то был расцвет. А для меня — детство, и очень хотелось его сберечь в радужной, идиллической окраске. Я за это долго боролась, сама с собой.

Желание жить хорошо — нормально, естественно, только иной раз, и часто довольно-таки, за хорошую жизнь цена назначается непомерная, вздутая спекулятивно, как на «черном рынке», где знаешь заведомо, что облопашат, а между тем туда толпами прут. Но удивительна не толпа, а что, помимо нее, существуют другие, вот как Олеша.

Склонность к бесребренничеству в нем отнюдь не являлась врожденной. Напротив, сам отмечает свою «буржуазность», то есть тягу к комфорту, даже роскоши. Одесса в годы его детства, юности со всей пышностью нарождающегося капитализма наглядно демонстрировала, что такое власть денег. Дачи богатых, с узорчатыми решетками, вывозимыми из Италии, Франции, — правда, нюанс, к себе возили, а не наоборот — пленяли воображение гимназиста. Он эти виллы вспоминает, силой художнического воображения, можно сказать, обладает ими, в период, когда стало из дому не в чем вый-



Юрий Олеша.

«шагреневая кожа». И хотя нас, современных людей, давно приучили морщиться от навязываемых морализмов, были, есть и будут критерии, которые опровергнуть нельзя, а что они большинству недоступны — это правда.

Олеша был вовсе не сумасшедший, не чудачествовавший. Механизм «имущественного отношения к жизни», по его же выражению, им изучался трезво, зряче. С любовью и уважением к ученому, естественно, выныкал тут в оттенки этой, ну скажем, слабости, вполне человеческой. Об Алексее Толстом восхищенно: «... вспомнить Петра с описанием мужчин, как если бы сделал их педераст, и описанием женщин, сделанным именно Дон Жуаном». Потом, с сожалением, роняет общеизвестное. И сам же себя выверяет: не вкралась ли зависть к «советскому графу»? Зря сомневается. Мы, читатели, знаем: нет.

Говорит с нами не схимник, не «богом ушибленный», а плотский, с кровью огненной, в висках бьющейся, человек. Гуляка, как Моцарт, скорбь в сердце накапывая, но настроение собутыльников не омрачая.

В текстах, нам Олешей оставленных, сквозь мрачность быта, собственную — он это почти нарочито выпячивает — неидеальность прорастает житие. Говорит, вот в пивную подался, копошился в са-

ним связана заря жизни, мы вместе начинали...

В этот период Катаев — классик. «Белеет парус», «За власть Советов» изучаются в школах. На лацкане пиджака — медалька с царственным профилем. Ну и дача, и тот самый «ЗИМ». А что завидно особенно: перспективные, молодые, зубастые, смелые почтуют его как мэтра. В «Юности», где он станет вот-вот главным редактором, победители новые им будут выпестованы: Аксенов, Гладилин, Вознесенский... Он и их обаял, не только власть. Когда же в 1965-м издал «Святой колодец» — вообще фурор. Явлено было чудо: новый, никому до того неизвестный писатель. С той же фамилией, всем знакомой, но ошарашивающий бьющей наповал «новизной».

«Святой колодец» — изделие виртуоза. Там присутствует все, недавно еще запретное: потусторонний мир, сиречь вождельный Запад, с ихними конфиторами, рогалями на завтрак, лужайками, овинами, где на самом-то деле все обустроено «ультрасовременно», с «кобальто-синим фаянсовым туалетным столом на одной ножке», ну и прочее. Но есть и тоска, тоже дозированная. Есть — и для нас, тогдашних читателей, тут была главная наживка — фигуры, за упомянность которых вчера еще головы отрывали. И вот — ды-

296